

АННА  
НЕМЗЕР

# РАУНД

ОПТИЧЕСКИЙ  
РОМАН

ДАВАЙ ЭТО СДЕЛАЕМ САМИ –  
И СДЕЛАЕМ КРАСИВО

18+

Роман поколения

Анна Немзер

**Раунд. Оптический роман**

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Немзер А. А.**

Раунд. Оптический роман / А. А. Немзер — «АСТ»,  
2018 — (Роман поколения)

ISBN 978-5-17-109160-6

Анна Немзер родилась в 1980 году, закончила историко-филологический факультет РГГУ. Шеф-редактор и ведущая телеканала «Дождь», соавтор проекта «Музей 90-х», занимается изучением исторической памяти и стирания границ между историей и политикой. Дебютный роман «Плен» (2013) был посвящен травматическому военному опыту и стал финалистом премии Ивана Петровича Белкина. Роман «Раунд» построен на разговорах. Человека с человеком – интервью, допрос у следователя, сеанс у психоаналитика, показания в зале суда, рэп-баттл; человека с прошлым и с самим собой. Благодаря особой авторской оптике кадры старой кинохроники обретают цвет, затертые проблемы – остроту и боль, а человеческие судьбы – страсть и, возможно, прощение. «Оптический роман» про силу воли и ценность слова. Но прежде всего – про любовь. Содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109160-6

© Немзер А. А., 2018  
© АСТ, 2018

# Содержание

1. Дифракционный предел	7
2. Закон Снеллиуса	18
3. Эффект Доплера	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Анна Немзер

## Раунд: оптический роман

Фото автора на обложке – *Александр Карнюхин*

Издательство благодарит литературное агентство «Banke, Goumen & Smirnova» за содействие в приобретении прав.

© Немзер А. А.

© ООО «Издательство АСТ»

\*\*\*



Анна Немзер родилась в 1980 году, закончила историко-филологический факультет РГГУ. Шеф-редактор и ведущая телеканала «Дождь», соавтор проекта «Музей 90-х», занимается изучением исторической памяти и стирания границ между историей и политикой. Дебютный роман «Плен» (2013) был посвящен травматическому военному опыту и стал финалистом премии Ивана Петровича Белкина.

\*\*\*

«Дети, родившиеся в конце XX века, выросли и предъявили свой собственный язык, новую, сегодняшнего дня литературу с новыми героями и прежде немислимыми ситуациями. Любовь оказывается не только сильнее смерти, но даже сильнее самого пола. Проблемы все те же, вечные, но стремительно изменившееся время накладывает новые черты на мышление, на поведение, даже на отношение к самому себе – часто жесткое и беспощадное. Замечательный жест в сторону ушедшего и еще не ушедшего поколения, попытка взаимопонимания и примирения».

*Людмила Улицкая*

\*\*\*

*Памяти моей мамы*

*Веры Белоусовой.*

*Я надеялась, что мне не придется писать эту фразу.*

*Дальше.*

*Этого текста не было бы,  
если бы не мои родители —  
Вера Белоусова и Андрей Немзер*

*и*

*Андрей Борзенко,  
Илья Венявкин,  
Алексей Евстратов,  
Сергей Немалевич,  
Кирилл Осповат,  
Андрей Успенский,  
Сероб Хачатрян,  
Вера Шенгелия.*

*The ocean doesn't feel like making waves.  
There's no one that the lifeguard needs to save.  
And no one's in the mood for feeling brave.  
We're well behaved, so well behaved.*

# 1. Дифракционный предел

## Дмитрий Грозовский. Тами

*When you came in the air went out.*

- Дмитрий, спасибо, что согласились поговорить.
- Ну знаете! Это не мне спасибо.
- Да, я понимаю, как это звучит, но все равно спасибо.
- Да ради бога. Мне что скрывать.

Пауза. Смех.

- Чего?
- Да нет, просто я как-то думала... Я столько раз представляла себе нашу встречу...
- Что я в рифму начну говорить?
- Ну, типа.
- Ну конечно!
- Ну простите. Просто бредовая какая-то ситуация.
- Нормальная ситуация. Ты в первый раз, что ль? Извини, что я на «ты».
- Да пожалуйста. Нет, не в первый.
- Ну хорошо. Давай свои вопросы, а то время выйдет. Я тебя плохо вижу, кстати.
- Это у вас там камера, наверное, не очень? У нас тут хорошие компьютеры.
- Хм!
- Простите, неловко вышло.
- Да камон, нормально. Я на самом деле просто плохо вижу. Сам по себе. Не в камере дело. Нормально, просто говорить сложновато. Но ничего, сейчас привыкну. Сто лет не говорил по скайпу.
- Да. Да.
- Вот сейчас ты спросишь: типа, расскажите, как все начиналось?
- Хорошее интервью. Сами спрашиваем, сами отвечаем.
- А я не знаю, чего ты теряешься. Значит, мне за тридцать, это ты все про меня прочекала, я думаю, это все известно, стендап, клубы, некоторая известность, сетевая сначала, потом и не только, по городам езжу, наработка хохмить есть, качество нормальное, сейчас это все выпилено, но, если покопаться, можно найти, и думаю, что ты находила.
- Давайте сначала. Расскажите про свою семью.
- Семья довольно понтовая. Отец мой – известный театральный режиссер Григорий Грозовский, вообще мощная театральная традиция в семье, прадед мой – мастодонт, создатель еврейского театра, его убили в 48-м, мама – тоже театральная актриса. Меня это все, честно говоря, дико бесило, и я с детства знал, что туда ни ногой, и с детства на это все очень агрессивно реагировал, на элитность эту интеллигентскую, на все эти сборы, и понты, и чтения стихов. Но далеко я не ушел, как ни старался.
- А с чего вы начинали? Где вы учились?
- Да видишь, в том-то и дело. Стал филологом – вообще на поводу у семейки пошел получать высшее образование, хотя я это все видал. И вот тебе ирония: я из МГУ перевелся в Свободный университет в Берлине, потом в Эл Эй учился и оказался довольно талантливым мальчиком по этой части. Дико меня это бесило, но реально хорошо шло. Ну и как бы...

Как бы одновременно с тем беситься на это самоназвание, исходить ненавистью, селф-демолишь такой упоенный, ну ты понимаешь. Расконтачило меня довольно сильно, и я в этом находил кайф. Было что порушить. Карьера, там, диссертация, ожидания профессоров. Не такие уж ожидания, не такой уж я был академист, но в принципе надежды какие-то... Но нет. Мне не так даже тошно было от этой славистики всей, как я себя накручивал.

Нельзя объяснить и нельзя признаться не то что этой девушке-интервьюеру – самому себе нельзя признаться, что этот пиздец начался с Сани, а потом уже пошло-поехало. Нервяк, нервяк. Но об этом невозможно.

А было-то довольно просто – и вот это уже не он рассказывает. На втором году его обучения приехала туда девушка. Саша. Тут-то у него крыша и поехала.

Какая-то была конференция, что ль? Что за конференция, если она занималась физикой? Приехала она совсем ненадолго. Где они могли встретиться? Банкет, то-се, потом танцевали они. Что-то такое она швырнула ему тогда, в него... как...

Вот она идет к нему, идет, белокурая, коротко стриженная, с челкой, высоченная, из-под ног вышибается пыль, очень стильные ботинки, очень. Ужасно клевая, конечно, и совершенно ебанутая – но какая. Jeez, какая.

И был какой-то сбой.

Пока они целовались в какой-то греческой забегаловке...

Нет, не то. Язык твой – враг мой. Бывает такой приход от одного поцелуя, когда ток бежит по деснам, по которым она проводит языком, и ударяет разом в башку, закладывает уши, дальше вниз и – дальше, положим, ясно.

«Внутри ощущение твоего языка. Все время внутри чувствую твой язык». Это она ему говорит, и он шалит от этих слов. Как она умеет все назвать словами. И ничто ей не стремно назвать, нигде она не смущается. И ему, мудаку, кажется, что когда языками так, когда телами так, то все прочее уже неважно.

Роман длится два месяца. Все это время кокаин – и все это время, даже когда и clean, он чувствует этот кокаиновый приход просто от ее поцелуев. Все это время он заканчивает диссертацию, успевает в срок – хорошая диссертация. Все очень довольны.

На исходе второго месяца... трудно говорить... они плывут на лодке по какому-то там озеру, озеро образует загиб, она на веслах, сворачивает туда, в какие-то камышовые дебри, причаливает, лодка носом прошивает какие-то заросли. Она бросает якорь, снимает спасжилет, снимает ботинки, сороковой размер у девушки – ну и ясное дело, при ее-то росте, снимает, снимает, снимает, все с себя сбрасывает, он смотрит не шевелясь, молча, взрываясь внутри, она говорит: «Ну!»

Он улыбается, говорит: «Перевернемся».

Она говорит: «Примажем?»

Он говорит: «Сумасшедшая».

Ну и – и потом. Не выпустив его из себя. Проводя языком по его векам, ресницам. Проводя пальцем по его животу. Она все рассказывает.

Он слушает, слушает, силится понять, но абсурд сильнее его понимания, он начинает орать: что значит – ты решила? Что, блядь, значит – ты решила? Кому это что значит?

Он так орет, потому что уже немножко ее знает: не пустой треп. Как сказала, так и делает.

Вот это все похоже, конечно, на признание в беременности и одностороннее решение об аборте. А это не так. А как? Как про это рассказать? Какими словами?

– Ни хера не понимаю, ни хера, ни хера, ни хера...

Она проводит языком по его векам, ерошит волосы.

Он пробует пробиться к смыслу:

– Ты говоришь, тебе невыносимо в твоём теле. Не чувствуешь себя женщиной. Ты говоришь, ты давно решила. А вот ты меня встретила. И у нас тут такое. Это тебя ни на какие мысли не наводит? Может, ты ошиблась все-таки? И как ты не чувствуешь себя... блядь, а сейчас ты что чувствуешь?

– Это все кокаин, мой хороший.

Тут он стонет.

– Ну что ты?

Он стонет.

– Мне с тобой так хорошо, так хорошо. Но тебе что, именно женщина нужна? Это же предрассудки, нет? Нет, тебе хорошо с этим человеком. С этим его запахом. С этой его флорой...

Тут он взрывается:

– Ты ебанулась?! Ты думаешь, мне нужно с каким-то...

– Не с каким-то – со мной! Мы просто посмотрим, будем мы вместе потом, не будем...

Обреченно он спрашивает:

– Когда операция?

И стонет, услышав дату. Очень близкую. И уже на каких-то гормонах, давно, а он и не замечал ничего. Заметь тут. И какой-то вопрос еще зреет на отсыревшем неповоротливом языке: типа, а это нормально, что ты все это время... – но он даже не знает, что доспросить: что ты все это время на кокаине при этой гормонотерапии? Что ты все это время диссертацию пишешь – как же диссертация-то? Чьим именем она будет подписана? Что ты все это время не выпускаешь меня из себя? Что ты все это время мне ничего не сказала?!

Ее уже не было сколько-то недель, но в больницу он честно свое отходил. Операция, истерзанное любимое тело, катетеры. Родители ее звонили по скайпу, но что они могли – зареванные несчастные путинисты под санкциями, ненавистники Обамы; они, кажется, и за эту выходку дочери на него возлагали ответственность. Обама править при этом оставалось месяца два.

– Плохо тебе без меня?

Это она его спрашивает. В больничной палате. Трубок в ней уже меньше понапихано, понемногу встает, жалюзи на окнах приоткрыты, яблочное пюре в баночке. Она. Разве это она? Голос другой, не скажешь «она»; но тело, тело – родное. Вот как это – похоронить человека, а он тут как тут, живехонек. Яблочное пюре вот ест. Где ты, мое счастье, дурочка? Что ты сделала?

– Плохо? Ты издеваешься?

И пока говоришь во втором лице и в настоящем времени, избегаешь болевого шока. А каждое утро начинается с него: как ты спал-а? Черт-черт-черт.

Ну и долго он так не выдержал. Дружить с нынешним Сашей – ну извините. Есть какой-то – тут он над собой уже стебется – дифракционный предел. А зрение падает тем временем. По полдиоптрии в год.

Но об этом он никому не расскажет.

– И вот когда у меня стало падать зрение, а оно стало падать лихо, по полдиоптрии в год, я решил довольно нагло: на хер всю эту визуалку, я про звуки, про нойз, про шумы, про дыханье, про ритм, ну я так долго могу, короче.

– И тут вы стали писать? Сочинять?

– Ну да. Ну как бы не сразу. Сначала я распрощался со всей наукой – там не визуалка, но там тоже надо было сидеть над рукописями, компьютер, тексты, архивы – все это мои глаза потихоньку убивало, а я все-таки хотел их похранить немножко.

– В стендап вы каким образом пришли? После всех ваших диссертаций, Америки?

– Ну, это простая история. Во-первых, я, как полный мудака, решил вернуться. Без особых идей, че делать, например, как зарабатывать. Ну я тебе говорю, демолиш. Пошло оно все на хер. Куда мне с этих академических высот? А вот упасть ниже некуда. Во-вторых... Ну это случайно, допустим, вышло: мой одноклассник стал делать какую-то хрень на ТНТ. Была встреча одноклассников, тупые быстро ушли, осталась наша старая туса, дунули, Леха сказал: Димон, вот, делаю такой проект, ты не хочешь? Ты у нас остроумный. Ну е-мое, мне только того и надо было. Ну ТНТ образца 2016 года ты нормально себе представляешь. Я проработал месяца два. Поберег глаза.

– Что вы делали?

– Стендап as such. Я был довольно прокачанный по этой части, много смотрел. У меня была такая мудацкая мысль: сейчас я как переверну весь этот мир петросяна и аншлага. Это ты хоть понимаешь, что такое?

– Ну слушайте, вы меня совсем уж... Тем более, «Аншлаг» есть до сих пор.

– Ну да, а Петросяна ты погуглила. Ты молодец вообще.

– На какие темы вы шутили?

– Да я тебя умоляю, какие темы. Я видел американский реальный такой стендап: ну представь, выходит Бигелоу и двадцать минут – по часам! – изображает агонизирующего кобеля, с которым гуляет каждый день его такой же агонизирующий сосед. Сосед в Паркинсоне, псина эта тоже загибается, Бигелоу двадцать минут поочередно изображает то соседа, то псину, то себя, то псину, то соседа, то себя, зал катается двадцать минут, все икают, истерят, че там еще делают – и всем ясно, что это острая политическая сатира, хотя он ни одного имени не назвал. Но е-мое, дрожание его левой икры – гранд синь. Такое есть дрожание скулы или как там это, такого мускула над скулой – у стендапера, – когда он как бы еще сам не ржет над своей шуткой, но уже готов. Его как бы смех публики заводит, но он как бы держится. Как бы...

– Так это я все видела. Вы мне скажите: что вы делали на ТНТ? Что у вас получилось? Я нигде не нашла ничего, никаких записей...

– Нормальный заезд такой! Ты это... голову придерживай. Прости, что я так... Но где ты что могла найти?

– Да, действительно... А много убрали? Ну, так, в процентном соотношении: что убрали, что оставили?

– Ой, я не считал, делать мне нечего? Да и не было там ничего такого, поверь мне.

– А пример можете привести?

– Да не было там ничего, поверь мне. Дебильные потуги на остроумие. А перед выборами просто закрыли программу нафиг.

– Вас это расстроило?

– Камон. Я этого ждал, меня вообще это не обломало. Там логика какая была? На хрена мне вообще телек, когда есть интернет? Собственный ютьюб-канал, стендап-канал, реклама, ну и норм, сам себе хозяин. Полетело быстро, я вообще такой фартовый был.

– Фартовый?

– Удачливый.

– А.

– Ну вот. А потом уже началось. Лиги.

– У вас не вполне обычный путь, как я понимаю. У многих все начиналось с лиг, а потом уже – уход в сольное творчество... А у вас вон из стендапа...

– У меня иначе. Я сначала вообще на эту херню просто забивал, ни с кем не знакомился, на всех клал. Потом пришел просто посмотрел. Это нормальный такой был бойцовский клуб. Трезвое такое рубилово. Ощущение помню: непонятно – почему словами? Как будто очевидно, что это про уничтожение – ну и убивали бы уже друг друга. А тут вроде полумера. Потом понял.

– А вот что вы поняли, Дмитрий? Как вы это формулировали себе?

В этой полумерности была своя истерика. То, что ему было нужно в этот момент. Физическое уничтожение казалось выходом слишком тупым и очевидным. В этом словесном поединке был надрыв полной бесполезности. Если бы эта боль переваривалась во что-то дельное, цельное – так нет. Ничего не славим, ничего не проклинаяем, рефлексии ни на йоту – тупые все, ни тебе катарсиса, ни физического выхлопа. Самое оно. Талант у него был, тут без вопросов, ну и злой он был, сводил счеты – но вот с кем? А они все с кем? Регот толпы давал ему весь нужный адреналин, импровизация текла легко – за это ценили отдельно, он, конечно, готовился, а еще мог с налету без подготовки вмазать одним-другим панчем так, что вся эта гопота взывала от восторга.

– Я быстро понял, что меня там боготворят.

Была одна болевая точка. Талант был, со словом управлялся легко. Болевая точка – музыка. Начитывал все по делу, в голове звучал бит, и там была одна безысходность. Вот что ты еще можешь сделать с этой музыкой, если не перепевать ее до одурения? Что-то пытаешься сделать от любви, бьешься в стену. Не пощадили меня.

Было в этом унижение. Музыка не давалась. Самая попса, самая тупая гармония – не давалась. Перепевать – перепевай, а сам – ничего и никогда. Сэмплим в порядке сублимации. И вроде гармонии-то нет, один ритм, один ритм, один этот бит бессовестный, никогда так не смогу.

А словами я мог. Словами я мог, как никто не мог. Вот и вся любовь. Был один микстейп, с кем-то пытался сотрудничать, но слово, конечно, забило все попытки музицировать. Довольно постыдные. Ну и тогда я подумал: на хрена делать то, что делаешь плохо? Слово я делал хорошо.

– Вы стали на этом зарабатывать?

– Да. О, да. Я какое-то время вполне неплохо на этом деле...

Продаваться ты начинаешь, когда научаешься продавать себя. Это вопрос не технический, а символический: как только ты на сложных щах, как говаривали в эпоху моей юности, так тебя все сразу покупают задорого. Дело набирало обороты, реклама текла рекой. У меня ши были не то слово сложные: Сашка приехал в Москву, мы встречались, я видел в нем ее, и внутри у меня все разрывалось в кровавые лоскуты, шея та же длинная, и вот он наклоняет голову, падает та же длинная челка, не мог прическу сменить, ублюдок, и он смотрит совенком снизу вверх, эрекция – нет, нет, блядь, только не это. И ши у меня были будь здоров сложные. В этот-то момент меня и стали покупать задорого. Я говорил: никуда не пойду, в гробу видал ваши приглашения и предложения. Я и ему говорил: на хера нам с тобой встречаться, отвали уже. Но кому вру – шел, встречался. Умирал. «Ну, расскажи, чем ты сейчас занимаешься?» Сань, под чем ты? Что ты спрашиваешь? Серьезно? Small talk у нас будет? Он про себя рассказывал: научная карьера продолжалась, пи-эйч-ди, все норм, книжку пишет, эта история ему даже отчасти на пользу пошла – академическое сообщество превзошло себя в толерантности. Я перетрахал пол-Москвы от бешенства и разорился на абортах.

– Как вы соотносили себя с политической ситуацией в стране?

– Да никак. Бесило меня все дико, это да. Но чтоб вот уходить в оппозицию... В политику ввязаться... Нет, этого я никогда не хотел. А те, которые уходили, тоже бесили.

– И вот когда вас с ТНТ выгнали, вы тоже не хотели как-то мстить?

– Слушай, ну кому мстить? Явление природы...

– А на вашем канале?

– А на моем канале... я знал, подо что мне дадут рекламу, а подо что нет. Чистый стеб нужен. Рубить сук, знаешь... Меня устраивало.

– А в баттлах у вас были какие-то политические темы? У вас не было ощущения, что вот в это подполье должна уйти политическая сатира?

– И оттуда как бы исподтишка херачить? Я тя умоляю...

Нет, вообще этого не было. Зал, рев людей, ор, месиво, тестостероновый гейзер, мат, больше мата, страшнее мат, самые страшные темы, нет запретных тем, нет запретных слов, смерть детей, ебля детей, ебля мертвых детей, кто больше. Когда они стали вырезать острые темы (острые!), он даже не смог взорваться, взбеситься, заорать: да вы охренели, что ли, вы тут будете срать? Вот тут, в этом месте будете срать? Но даже ничего не сказал. Ну да, будут. Бритоголовые браточки, хлипкие декаденты, молящиеся (возьмем, допустим, такое слово) на Канье, надменные филоложата вроде него, с толком использующие Ортегу-и-Гассета, если что вдруг. Все они были беспомощные придурки, как бы эскаписты, по сути – лузеры, и он – первый среди них.

Его уже там крепко не любили. Слишком легко он их удельывал, слишком. Презрения своего особенно-то и не скрывал. Пару раз нарывался, мочилово было несерьезное, даже тут не могли особенно разойтись. Сломали нос. Он стал носить с собой заточку – и сам себя за это звал клоуном. Опыт уличных боев... Отчасти он его себе придумал, отчасти что-то и было. Ты поди найди себе при таком бэкграунде реально плохую компанию. Но находил же. Играючи побеждал по всем фронтам, слово текло легко. Корпоративчики. У него там родители в этот момент болели оба, он зашибал какие-то сносные бабки, отдавал их врачам, вроде вытащил, обоих вытащил.

А потом снова приехал Сашка, как медом ему было намазано в Москве. И снова потребовал встречаться. Он обреченно спросил: где? Думал про какой-то очередной ресторан, где они всегда сидели над тарелками с этими крошечными изысканными порциями: утка су-вид, тыква, мишлен май эсс, – кусок не лез в горло. Пытались разговаривать, Саша честно не понимал: почему ты просто не можешь со мной поговорить, как человек? У нас все-таки с тобой многое в прошлом... – я боялся его убить. У меня с его телом особенной границы не было, я знал его хрупкость. Один удар вот этой бутылкой... Совиньон блан... Шаблишечка, как у нас тут в заводе было говорить. Нож в кармане... Но тут Саша сказал: «Можем за город съездить?» – «Что за херня?» – «Я тебя прошу».

Поездочка была та еще. Саша плохо себя чувствовал. Он вообще после этой операции очень часто плохо себя чувствовал. Не налаживалось нигде ничего, так и ходил с катетером, периодически моча не проходила, он мучился. Вот ты погляди на свою бывшую девушку, на свою крышесносную любовь погляди – как она теперь мальчик и у него проблемы с мочеиспусканием. Бог горазд выдумывать, конечно. Вышли из машины где-то около Королева, Саша встал, держась за дверцу машины: «Погоди одну минуту». – «Ну что еще?» – «Очень голова кружится. Сейчас».

Он к нему подошел, ну что делать, обнял, рука привычно пошла в копну волос, в длинную челку, в стриженный затылок, запах, запах был тот же, он уже не мог больше воевать с собой, язык встретил язык, и это так было знакомо: в голову ударило и заложило уши – всегда закладывало, он забыл. Время остановилось. Пальцы эти... всепроникающие... Дай мне, дай мне больше, ну! – полез под рубашку, ниже, ниже, наткнулся на трубку катетера. Саша осто-

рожно отстранился – и эта улыбка ее... его... нос сморщенный и счастливая улыбка... «Я же тебе говорил!» – «Да иди ты к черту». – «Ты просто зашоренный». – «Иди к черту». – «Я просто сейчас совсем ничего не могу». – «Это, блядь, меняет дело!» – «Ты не знаешь, ты не...» – «Заткнись, Христа ради, заебал». – «Ты не знаешь, как это бывает, ты не видел меня...» – «Вот только эрекции твоей мне здесь не хватало». Не слевать бы. Такая тоска.

Саша сел на корточках и достал сигарету. Каждое движение было пытка. Она, и все тут. Брат-близнец, Экберт и Берта, не вылезешь. Как же меня так втянуло-то, как выбраться отсюда – и он не сразу услышал, что Саша что-то ему говорит. С усилием вернулся.

– Откуда ты все это знаешь?

Острый подбородок. Губы, губы.

– Ну иди ты ко мне, дурак.

Мы сели в машину. Смотреть я на него не мог и не смотрел, но как будто это помогало? Он мне сказал – и я, не глядя на него, увидел, как пошел вниз уголок губы, как вздернулась одна бровь, как он изобразил ехидство: «Что, не можешь на меня смотреть теперь?» Я ответил: «Не могу». Я не вижу его, но слышу, как шелкает зажигалка, похрустывает фильтр, нежно и вкусно потрескивает первая затяжка, он так аппетитно курит всегда, я терпеть не могу, когда он курит в машине, и всегда хочу сигарету, стоит ему закурить. И он говорит мне: «Не очень-то толерантно выходит. А такой вроде прогрессивный чувак». А у меня даже взорваться нет сил в ответ, я спокойно и бешено говорю: «Ты дебил просто, ты вообще ничего не понимаешь», – у меня кипит слюна в уголках губ, я чувствую. «Ну объясни мне» – «Мне похеру на вот это все. Ты что мне сейчас шьешь? Мы серьезно сейчас про идеологию будем говорить? Про толерантность? А ты про меня подумал, спикин оф толерантность и милосердие? Я в тебя входил спереди и сзади, мне, блядь, что тебе еще напомнить?» И он очень трезво и спокойно говорит: «Ну так бывает, не ори. А теперь – вот так. Что это меняет?»

И я чувствую, что он прав, но тоска заливает мне глаза. Как маленький. Запрокидываю голову. Он пытается большим пальцем провести мне по щеке, я отшатываюсь, машину слегка ведет на повороте, он опять очень тихо и трезво говорит: «Я не буду тебе сочувствовать. Извини. Сделай с этим что-нибудь. Все в твоих силах. Ты просто потекаешь своей фобии».

Я молчу.

Смотрит на меня пристально, взвесил, оценил. «Придется расставаться. Так обидно. Так хорошо с тобой». Ты, значит, видишь такую возможность? Тебе, значит, так нормально? Когда ты со мной расстался? – это я не говорю. Это я ору про себя. А он с грустной улыбкой, усталой такой, говорит: «А ты думаешь, у тебя получится?» – «Что?» – «Да вот... жить без меня». И тут я говорю: «Хватит. Иди-ка ты из машины. Все, все. Я не шучу. Выходи».

– Так что ты там стал говорить?

Он тихо и монотонно рассказывает. Я молчу, у меня уже ничего там в жилах не стынет, я все это знаю. Таких историй – миллион.

– Ну а от меня-то ты что хочешь? Я не журналист, не юрист, не активист даже. Куда я полезу?

– Не знаю, Дим, правда. Кому мне рассказывать, если не тебе? Кто у меня ближе есть?

– А за город зачем ты меня повез? Что за дебильская конспирация?

– Димочка.

Сашка-то нормально устроился. Сам, понятно, он ничего не мог, да и вообще он не собирався, он просто передал мне информацию, а сам мотался между Москвой, Гарвардом, еще какой-то Америкой, академические дела чередовались с медициной, один раз его увезли в госпиталь прямо с конференции в Берлине, и он, идиот, улыбался мне в скайпе с больничной койки: «Представляешь, какая удача: свой-то доклад успел сделать, а этих чудиков слушать не больно-то и хотелось». Я отменил концерт и через день был уже у него, а он те два часа посе-

щения, которые нам были отпущены, протрелся с какой-то бабой из MIT, которая, конечно, от него млела, а на следующий день его уже выписали, и он тут же уехал в Оксфорд, а у меня не было английской визы в тот момент. Закончилась.

Я вернулся в Москву. Сделал визу. Не отвечал ему ни на что. Неделю где-то. Не было у меня никакой возможности от него избавиться. Я тогда спал с какой-то девкой с «Дождя», Нина ее звали, вполне милая, и вот как-то мы с ней сидели, и у нее всегда была хорошая трава, и я ей рассказал – не все, конечно, но в общих чертах. Она сказала: «О, ну это тебе в “Новую” надо идти, это прямо их история». Я спросил: «А ваши не заинтересуются?»

Что это за строчка вертится у меня в башке – «То ли не завезли, то ли неурожай»? Откуда это?

Меня вообще весь этот дачинг, все эти расследования совершенно не занимали, в гробу я их видал. Мне никакого знания они не добавляли, я и так всё знал. Больше того, мне лениво было это все читать и смотреть: ну еще одна дачка, ну еще одна дочка, офшоры на счетах одноклассников, пересчет яхт – мельтешение мстительных муравьишек, страшная месь. Что вы сделаете-то этими раскопками говна? Мне казалось, что либо взрывать, либо сидеть тихо, но и взрывать я не видел способа, они закрыли даже способ себя взорвать. В этот момент сел Петя, громкое дело было и безобразное. Я не успел с ним ни увидеться, ни поговорить.

– Петя – это я правильно понимаю?..

Господи, девочка. Сидит же. Что-то же я ей все это время говорю. Что же я ей говорю, не это же я ей рассказываю, правильно? Сколько у нас времени там осталось? Кудрявая такая, славная, жалко, что я ее плохо вижу. Отвык от лиц.

– Да, правильно. Сколько у нас времени осталось?

– Еще час. Вы дорасскажите, пожалуйста, это важно.

Кому это важно? Детский сад. Израильское русскоязычное ТВ, развлечение для мишпухи.

Петя сел, я не знал никаких подробностей, мне никогда не было с ним особенно легко или интересно, мы во многом не сходились, но он-то умел взрывать как надо. И сел – как-то довольно бездарно, после попытки убежать.

У Сашки, конечно, как всегда, был свой отдельный взгляд:

– Петя твой – придурок, и ничего мне никогда не нравилось из того, что он делал, и финал этот совершенно логичный...

– Ты много понимаешь, конечно. Главный эксперт в современном искусстве.

– У тебя сама постановка вопроса порочная. Конечно, я эксперт! Современное, не современное – это вообще неважно. Я про искусство и талант все понимаю. Ты, может, будешь делить мир на гуманитариев и негуманитариев? За первыми оставишь право судить? Ну ты сам понимаешь... Я знаю, где херня, а где талант. А ты, дорогой мой, конъюнктурщик. И рэперки эти твои недоделанные... кому мстят-то? Воспитательнице в детском саду? Прапору? Школе-поликлинике-ментовке? Я знаю это все. До омерзения не ново. С этим не так надо бороться. Борьба – это не понты, не на публику. Это готовность разрезать себя и пересобрать.

– Отлично, охуенно. Все, значит, должны как ты? Что за предьявы такие, что мы все не пошли и на общем хайпе себе вены не порезали? Или пол не поменяли?

– Да на хер пол, и вены, и хайп... Хайп, блин... Жаргончик твой еще... Не вены, и не пол, и не резать в буквальном смысле. Но это не борьба. Это дешево. Я знаю, где хайп, как ты выражаешься, а где серьезная ненависть. Ненависть – это мысль. Хоть какая-то. Где у них мысль? Необязательно себя резать.

– Петя вон режет как раз.

– Петя твой... мудака великий... акционизм на злобу дня, чтоб все поняли, что царь плохой и бояре плохие... Это ж простой расклад такой: кто на актуальность работает, тот в вечности вряд ли задержится. Закон физики. И тут пофигу, это современное или Сумароков. А он этого вообще не сечет. Без него, значит, никто не понял, что в стране происходит. Он нам глаза, что ль, раскрыл? Ну камон. Это, знаешь...

– Ну что? Ну давай скажи!

– Да ну ничего, мания величия это. Самая тупая мания величия. Самого дурного пошиба. Поцелуй меня.

Валяемся в Оксфорде у реки, лениво и нежно ругаемся. Я приехал к нему на выходные, застрял дольше; темная зелень и запах какой-то акации, что ли? До сих пор не знаю, что это за запах. Он лежит на боку, подперев щеку рукой. Катетеры все уже вынули. И улыбается.

Я до сих пор не могу открыть глаза. Я могу все, его запах, его губы, его язык, я не могу только открыть глаза – и только не... – и каждый раз он орет на меня: ты просто мерзавец. Как же нам вместе хорошо. Как же мне невыносимо. И как же он ненавидит меня в эти моменты.

Так вот, Петя сел, и ушли последние силы. Мы не были в близких отношениях, и я даже не могу сказать, что на меня как-то подействовала эта история, но, черт, что я знаю? У меня внутри были какие-то ошметки от многочисленных взрывов, я не знал уже, что лечить. Я стал собирать материал. «То ли не завезли, то ли неурожай»... Хм... привязалось...

– Скажите мне все-таки. Вы сидите по статье 282, если не ошибаюсь, это экстремистские высказывания, да? И еще тяжкие телесные? Но, знаете, я нашла эту вашу запись.

Я увидел его в толпе, где-то в глубине зала, и совершенно ошалел: где-то среди пластиковых стаканов с пивом, среди всей этой гопоты – его белобрысая копна; он или не он? Саша никогда не приходил на баттлы, вообще всегда жесточайшим образом все это дело выстебывал. Кроме того, он точно должен был быть в Париже в эти дни, у него шла важная конференция. Приехал, что ли? Что-то там мелькало поверх бритых голов – я вглядывался и не мог понять; я отчитал нормально, победил какого-то чмошника – дело нехитрое, и все смотрел: зачем он сюда? Стали расходиться, я вышел курить, опять что-то мелькнуло где-то в темени, чертово зрение – не выдержал и крикнул: «Сань?»

Но ошибся.

Я услышал «Своего ждал?», сразу все понял, бил один, двое стояли рядом – не та у них задача была, не страшно, но омерзительно, придурки несчастные, связи у них; когда надоело – достал нож. Куда бить – хорошо знал. Убивать не собирался, ну и не убил. На то и был их расчет. Потому втроем и не били.

– Подождите. Вы мне пытаетесь сейчас рассказать, что это месть? Это за ваш успех там? Или... простите за прямоту: я где-то читала, у вас была связь с молодым человеком? Извините, пожалуйста, что я так прямо. Это же крайне агрессивная среда была, как я понимаю, – за это, что ли?

– Да-да, очень агрессивная, нетолерантная. Полные отморозки. Месть, наверное, тоже...

Молчит.

Купишься ты на это или нет?

Молчит. Потом решается.

– Слушайте, нет. Не сходится. Зачем им было вас именно сажать? Почему эта статья? Ну избили бы как следует. Вполне месть. Это же был заказ? Ну скажите!

Теперь уже я молчу. И улыбаюсь.

– Я нашла эту вашу запись. За неделю до драки она была. Мне друзья помогли. Они ее успели скачать. И мне кажется, что вы врете. Материалов дела, конечно, никто не видел. Но эта ваша запись... Скажите мне, ведь вы же провели расследование, да? Вы пытались что-то сделать на «Дожде»? Вы не договорились с ними? Вы не пошли в «Новую газету»? Там некоторые ребята с «Дождя» теперь у нас, в Тель-Авиве, – они сказали, что у вас были материалы. И что вы просили технической помощи, но расследование хотели сделать сами. И потом я нашла эту вашу запись: вы просто рассказали это все во время баттла, так? Просто вы нашли такую площадку? Это транслировалось напрямую? Скажите мне правду. Это же за это, да? У вас был какой-то человек, который вас к этому подтолкнул? Откуда он знал?

Нет. Никого не было. А откуда знал – другая история.

.....

Это интервью не вышло. Диму отпустили через три года. Тут же ему написала эта девочка-интервьюер, Тами, Тамара – он получил ее письмо уже в Берлине, оно пришло по имейлу Саше, но для него. Длинное покаянное письмо: простите, ради бога, интервью тогда не вышло, главный редактор не дал добро – очень плохое качество записи, изображение скачет, звук плохой, в эфир не дашь, никто не посмотрит, ну и не так уж остро для израильской аудитории. Она не смогла тогда его переубедить. Но сейчас, когда он вышел по кириенковской амнистии, – может быть, он согласится? И главный редактор уже сменился. Она все понимает, так дела не делаются, но главное же, чтобы люди узнали? Ведь это правда важно. Эту информацию нужно распространять по всему миру. Она более чем поймет, если он ей не ответит, но если вдруг он сочтет возможным... Это можно оформить в любых форматах – скайп, почта. «С надеждой жду любого сигнала от вас».

Он выходит за ворота. Дешевле хода не придумаешь. Допустим, май, допустим, солнце. Он уже совсем паршиво видит, шурится, изо всех сил старается разглядеть.

У машины – высокий и худой юноша – уже не очень-то юноша, сколько времени прошло, – белокурый, с длинной челкой, падающей на лоб, и с острым подбородком. Закуривает сигарету. И он идет к нему, идет.

Мне бы хотелось, чтобы было так.

.....

Но лучше все рассказать постепенно.

## 2. Закон Снеллиуса

### *Денис Литвак*

*Check the script, me and the gods gettin' ripped.*

– Что изменилось с момента нашей последней встречи?

– Ничего.

– Совсем ничего?

– Наверное. Я все пытался понять, но, знаете, положила руку на сердце: я не понимаю, зачем нужны наши... вот эти разговоры... вот эти визиты мои к вам.

– Я не про то вас спрашиваю, вы это пока оставьте. Нужны, не нужны... Приходите, и ладно. Я не спрашиваю, что вас сегодня ко мне привело. Я хочу прочертить линию – со дня нашей последней встречи что изменилось?

Со дня нашей последней встречи мы сняли эпизод с обрушением банка – огромного здания. Это было нелегко, потому что снимали одним дублем. Работал новый оператор, его привел Борис, и этот новый оператор оказался даже лучше, чем мы все ждали. Картинка выставилась чистая: было ясно, как посыпется штукатурка, как стены уйдут в крошево, как ливанет лавиной стекло. Плохо то, что со светом он как ничего не понимал, так и не понимает до сих пор. Мучительный пробел в образовании. Вроде все выставили, все придумали, Начинаем снимать – и все не то! Борис и этот новенький в один голос: это потому что ты не рассчитываешь скорость! – и они правы, конечно. На его движение камеры – верткой камеры на руле мотоцикла, стрекозьей грации – никакой статичный свет не рассчитан, свет, выходит, тоже должен двигаться, но это что-то сложная история. Он чувствует, что тут нужно какую-то манеру придумать, – но не ловится пока, не ловится это дело. Он в замешательстве поэтому.

– Скажите мне, пожалуйста, эти ваши боли – вам удалось установить, с какой регулярностью они возобновляются? И с чем все-таки вы их связываете? Вы обещали подумать.

Чего уж там думать, он прекрасно и так знает: боли – в тот момент, когда он чувствует фальшь, когда начинается дурной театр; он это прямо ненавидит. А это каждую минуту подстерегает: чуть зазевался – и ты уже чудак. Но это уже сто раз говорено, а Виктор Константинович все твердит: «Не то, подумайте-ка еще немного».

– Как бы вы это описали всеми вашими средствами? Как бы вы это сняли, это ваше раздражение... чувство диссонанса?..

– Понимаете, я не снимаю то, что меня раздражает. Я снимаю мир идеальный. А для этого, бытового, у меня средств нету.

Все не заладилось, и съемки не заладились. С оператором как – либо с первого раза искра, либо ничего не получилось; объяснить никогда ничего не выйдет. Ты ему говоришь: вот здесь нужен выстрел. И если он тебе на это говорит: «При чем здесь...?» – то, считай, нету у тебя никакого оператора. С Борей было через раз: то прямо единение, а то он упирался и нарочно ничего не понимал, вот как сегодня.

– Я ему говорю: нужен выстрел! А он мне говорит: «При чем здесь? У нас же нет оружия в кадре. Ты про что вообще?» А я говорю: «При чем здесь оружие? Ты что, метафору не понимаешь?» И все, я уже вижу, мы с ним сегодня не договоримся.

- На что похоже это раздражение?
- Да ни на что не похоже! Ну как объяснить? Есть вот эта стыковка, а если нет ее, то и искра не высекается; ну классика же.
- Когда вы еще ощущали вот это – что искра не высекается?
- О-о, ну начинается.
- Вы раздражаетесь, и это вполне понятно и правильно...
- О-о, ну поехали...

Он уже довольно давно Виктора Константиновича знал и знал все эти приемчики. Сначала они его как-то будоражили, все хотелось заглянуть за какую-то тайную занавеску. Потом стало скучно. Он теперь все понимает: да, да, да. Я вам сам сейчас все это распишу в лучшем виде, про папу, про маму, про няньку и ваньку; про нестриженные ногти, руки эти идиотские, неумные, черт, хоть не вспоминай. Но вот кушетка эта – лег себе спокойно, среди дня просто пришел и лег – это, знаете, среди шума и суеты дорогого стоит. Короче, он на кушеточку повелся. Своего рода морфин. А сам этот – как его назвать-то? гипнотизер? – его сначала раздражал, а потом он стал к нему относиться как к местной табуретке.

А мать говорит: «Ты талант, и у тебя особенности, потому что талант сам по себе никогда не ходит, и ты должен понимать, что за талант надо платить». Мать – она актриса, театральная, но не из старых, а из новаторов, иначе и быть не могло. Он закулисный мальчик, всю эту мясорубку через себя пропустил и сделал выводы. Мама про талант хорошо понимала и так его успокаивала, пока он всю посуду не разгрохал и не отказался из дома выходить вообще. Это уже после окончания студии почти год прошел. Тогда они всполошились и разыскали общими усилиями Виктора Константиновича через каких-то московских кузин. Ну пришел, лег на кушеточку... были, конечно, раздражающие моменты, но попустило довольно быстро.

Сначала ходил регулярно, полгода где-то, потом так договорились: жизнь идет своим чередом, а если что не так вдруг – ну тогда милости просим. Он и забегал. И сейчас забежал в перерыве между съемками.

А Гарик говорит: «Динечка, ты нормальный. Я тебя сейчас расстрою, наверное, но прости, ты совсем нормальный».

Много он понимает.

Дружили они втроем: с Гариком они вместе с детства, а Тишку встретили в студии. Тишка было прозвище, от Тихомиров. Пришел такой надменный, сидел молча, потом что-то не сказал – выпалил, так всегда и говорил, сериями коротких сполохов. «Можно вывести на сцену корову и доить ее сорок минут – но зачем вы это сделаете?» Они с Гариком переглянулись – наш дружок, явно.

Такая тоска во всем сердце, как про студию вспомнишь.

- Что было в вашей жизни похоже на студию? Когда вы чувствовали что-то похожее?
- А ничего не было. И все тут.

Это была правда. Студия уж год как закончилась, они выросли – а болячка осталась. И ничего не поделаешь. Все дело было, конечно, в нем, в Сеньче. Надо освободиться, но тут поди освободись – пошли эти картинки перед глазами: вот он вошел, очки снял, прищурился, очки мокрые, он под дождь попал, с него течет, он стряхивает капли с реденьких волос, да чего уж там – с лысины стряхивает он эти капли. И смотрит на них, не видя, и щурится, и улыбается во

весь свой рот, и нос у него ходит ходуном. «Ну что, господа мои артисты...» – они, конечно, обмирали прямо все.

И никогда никакая девочка ни на него, да что уж – ни на кого не смотрела так, как смотрела на Сеньча. Он сидит, такой маленький, скрюченный, на табуретке, как щегол на жердочке, голову набок, глаз хитрый – а она на него, откуда-то сверху – даже если она сама низенького роста, все равно сверху, свысока – и —

эх.

Даром что они приходили в студию совсем телятами, кто в пятнадцать, кто в шестнадцать, но всем сразу становилось ясно: самый важный курс, самый главный – это актерское мастерство, курс Сеньча. И все туда ходили, и даже те, кто в актеры-то не собирался. Тишка с самого начала шел к Сеньчу определенно. Это только совсем недавно так повернулось, что он на цирковое дело переключился. А Гарик собирался в театральные режиссеры – так оно и вышло потом, но от Сеньча он тоже с ума сошел, ни одного занятия не пропустил, играл в спектаклях как миленький. Ну сказал: «Диня, пойдем, ты не представляешь, какой это мужик».

Он сдуру и пошел. И пропал.

Это ж так не передать – ну что сейчас про атмосферу рассказывать? Пошлая история. Что-то он с ними творил. Вроде ругался на чем свет, и со свету сживал, и издевался бесчеловечно, говорил: «В сухумском питомнике я видал такие хлопоты мордой, как вы мне тут выделяете», а ему самому: «Умри, Дениска, хуже не бывает» – но воля ваша: у каждого из них он создал твердую уверенность – лучше меня, лучше нас всех вместе на свете нет. Иногда после занятий собирались – узким кругом – у Сеньча дома. Потом, конечно, когда у них с Иркочкой началось, он их уже домой не звал, там жена и все дела. Но до того – стихи! и споры об искусстве! и всякое. И они все там бесились-орали, а над всем этим парил он, Сеньч, усмехаясь – очень довольный.

Потом шли домой по набережной, и все-то над ними был оптический прицел: где-то тут, в этой точке пространства, они саккумулировали что-то такое... смысл, и радость, и... Молоденькие были чудачки.

– Ну вы и сейчас вполне молоды – почему вы хотите откреститься от этих воспоминаний?

А потом он приходил домой, а там было почти то же самое: мама только после спектакля, воодушевленная – ей после операции так тяжело было запоминать слова, она каждый раз боялась – и каждый раз все блестяще отыгрывала. Вот тогда, в один из этих вечеров, помнится, у них и зашел впервые этот разговор: мама была такая заведенная после спектакля – все прошло великолепно, но ей трудно это давалось, и вот она стала горячо сердиться, зачем, кому это нужно, только мучиться самой – каждый раз эти полотна наизусть; да и зрителя мучить – один и тот же текст по сто раз... А как было бы хорошо: заядлый театрал приходит в театр, чтобы сорок пятый раз посмотреть драмку и поймать восемьдесят третий оттенок интонации, а тут бы он приходил и слышал новый текст, похожий, но новый. Нет, вы меня поймите, не «Горе от ума» своими словами – но кто ж сейчас играет классику? Нет, если современная пьеса – что мне даст эта зубрежка, она же во мне все и убьет – я, слава те господи, на сцене уже ого-го сколько, а драматургам дорогим пора бы и потесниться – потому что знаете что я вам скажу? Когда текст гениальный – ну правда! – там каждое слово на месте и нет труда его заучить. Но что-то не вижу я последнее время...

Гарик и Тишка – он их приволакивал с собой всегда – переглядывались; Тишка, напившись, шел в наступление: это что ж тогда выходит – это ж тогда получается!.. Отец тащил коньяк: давайте-ка чайку, господа артисты. Пили они тогда еще очень мало и неумело.

– Вы помните, когда ушло это умиротворение?

Времечко к умиротворению не располагало, тревожно было на улицах, прямо скажем, но он сам – да, надо признать – поддался. Он тогда ничего не чувствовал еще и пребывал в безмятежности, мученье началось не сразу, ему пока, наоборот, было так хорошо – непередаваемо.

А Ирка ему говорит вдруг: «Что-то я по тебе соскучилась... сильнее, чем надо». И еще потом: «Ну и имечко у тебя! Денис! Как же мне тебя называть-то? Мон кёр?» На цыпочках приподнимается и смотрит на него снизу вверх, а он ей – прямо в глаза, наездом, блестящие веки, метинка от ветрянки под глазом, ближе – зрачки – зрачок – фиксируем любовь, что уж.

Когда он взял в руки камеру, тени на стенах дрогнули и присели. А на самом деле довольно быстро пришлось ее отдать: тебе, братец, не положено, возвращай-ка. Вообще-то, по уму, он должен был быть оператором-режиссером – и каждый раз, когда оператор сейчас не видит линию, у него начинаются эти боли. Каждый раз так: вроде бы видит, вроде бы договорились – поедет по пьяной синусоиде, прорвется сквозь липкие стены и вдребезги налетит на героиню – так? А потом снимаем, смотрим – и нет движения, свет тупой, все не то – и опять боли.

– В какой области? В подреберье? В предплечье? Невралгического характера?

Трудно так сказать, но вообще сначала пальцы немеют – пальцы, держащие фантомную камеру, – а от них расплзается вверх по фалангам, выше и выше, ужасная моя ничтожность. И руки опускаются. Зачем же мне дано все это вообразить, если я на волосок ко всему этому не могу подойти? Жить бы мне и не видеть. Сколько раз в жизни такое бывало – ну вижу же прямо, вижу: дребезжащий алкоголический апрель, сумерки, недвижимая лужа – вдруг бешеный трамвай мчит по Литейному, заглывая куски экрана. Истерические скрипочки, как у Вивальди. А на деле что? Только недвижимая лужа и получается, как задумано. Черт, всегда же было ясно, что словами не передашь ничего, но был виден выход. И – на тебе.

– Когда вы это почувствовали впервые?

Он явно от меня хочет всякого постыдного детства, но тут уж я точно знаю. Когда Ирка, конечно. Когда узнал, вернее, когда увидел впервые, как она на него смотрит сверху вниз, даром что такая низенькая. Ну там дело еще в том было, что Сеныч на какой-то мелкой скамеечке примостился, а она стояла рядом. Нос у него, конечно, нечеловеческий, клюв как есть, и вся повадка птичья. Чиж. Наезд постепенно: чижик-чижик, солнечный зайчик на очках бликует. Ликует. Секретик между ними. Фиксируем боль. Вот тогда и...

Мама отказалась от двух главных ролей и оставила за собой только то, что второго плана, стала реже бывать в театре. Он очень за нее волновался, но она отмахивалась: «Динечка, я что-то вообще не понимаю, какой такой сейчас может быть театр... Рожи эти в партере – то еще удовольствие на них глядеть, знаешь ли. Минуй нас пуще всех печалей вся эта бредятина, лучше уж я дома посижу пока...» Отец очень переживал, старался ее беречь и ничем не беспокоить. В студии тоже все летело под откос, все были совсем юные, все вдруг взвинтились

и стали не то что ругаться, но огрызаться друг на друга – у всех были свои причины. Он сам перестал чувствовать пальцы, ходил обреченно, ни одного занятия, ни одной репетиции не пропустил, смеялся в положенных местах, что-то такое острил по чуть-чуть. От своих идей не отказывался, втихаря все примерял на глаз, на камеру – но уже без лихости, как будто уже тогда осознал, что ничего не выйдет. Отрастил первую бороду – и в унынии сбрил. Гарик и Тишка пытались над ним издеваться, но вхолостую. По пальцам вверх поднималась тоска. Тоска-тоска во всем сердце.

– Почему же вы все-таки ушли из студии?

Играли «Укрощение», он в роли галантерейщика – он вообще не претендовал на главные, его дело было другое: он все старался выстроить картинку – очень его все-таки мучила статика, и он не мог отделаться от своих мыслишек. Ему казалось: вот если здесь приблизить до максимума, расплющить человеческое лицо – и на дне глаза бьется вопрос, или страх, или насмешка. Что ты можешь дать зрителю со сцены, кроме этого вытья? Свет-т-т-тает! Ах! Как! Скоро! Ночь! Мин-н-н-нула!

Но Сеныч над этим смеялся. Он говорил: «Ты поди-ка поучись, поиграй “чего изволите”, ты ремесло освой изнутри, ты заработай себе право использовать технологии...» Ну он и зарабатывал покорно.

Так вот, он галантерейщик – и он стоит где-то в глубине сцены, с каким-то барахлом в руках, на авансцене вихри-вихри, поцелуи! Все какие-то не то что полуголые, а недоодетые. Режиссер наш умел нагнать эротического. И все такие лихие, такие... сам черт не брат, как это возможно? Дураки были страшные, ни черта не понимали и не умели – а поди ж ты, искрило со сцены-то. А он в глубине и темноте, с барахлишком, а Сеныч – он в зале, на втором ряду, в проходе и подсвечивает фонариком, дирижирует игру – такая у него была манера. Очки посверкивают, и лысина блестит – сморчок сморчком. Он вроде бы сосредоточен на авансцене, на всех этих бьянках-катаринках, там вьется вихрь – но вдруг в какой-то момент выхватывает лучом – меня. Меня. И смотрит на меня в упор, нежно и настойчиво. И – улыбается.

– Вы что-то почувствовали в этот момент? Вернее, так: когда вы чувствовали что-то похожее?

А Тишка не говорит – выпаливает: «Тебе просто работать лень! Тебе твой гонор дороже всего! Ты только поэтому и удрал!» – каждая фраза как взрывчик. Что-то надо ему делать с дикцией. Гарик хмурился, ничего не мог понять: «Если ты тогда остался, когда про них узнал, то сейчас-то чего?»

Он тогда из студии ушел, год назад дело было, осенью, не закончив, конечно, ничего. Мама и отец были в ужасе. Год его ели поедом, а потом он начал посуду бить – ну и стало не до того. Что я почувствовал тогда, спрашиваете? Дикое счастье, постыдное, несовместимое.

За этот год я, знаете ли, много добился, это вы все-таки отметьте среди моих жалоб. Работаю. Очень юный, но работаю как зверь. То есть я вообще-то по большей части всем доволен: сюда я прихожу только отдохнуть от внешнего мира, от всего этого психоза, который на каждом шагу. Свой психоз усмирил. Посуду не бью, по улицам хожу спокойно. Ну относительно, понятно – но это уж не про меня история, а про наше непростое время.

Он вытягивается на кушетке во весь рост, потягивается. Все ничего, все потихонечку. В октябре стало вдруг рано темнеть, в комнате горит яркий свет и за окном такая чернота, что вообще ничего не разберешь – ни деревьев, ни домов, только отражения люстры и торшера.

Минуточку. Секундочку. Он приподнимается на локте и начинает, шурясь и морщась, вглядываться в черноту. Люстра и торшер, торшер и люстра. Погодите-ка.

– Вы что-то вспомнили? Что-то поняли?

Я внезапно вспомнил, что угол падения равен углу отражения. Закон Снеллиуса, зеркало, солнечный зайчик, тела самосветящиеся и темные, прозрачные и непрозрачные, тень и полутень, прохождение света через узкое отверстие, физика Краевича – коричневый учебник. Гимназия. Натертый паркет. Если из темного зала на полутемную сцену он светил мне прямо в лицо своим фонарем, то не мог я видеть его лица. Никак не мог.

И черт не разобрать, ужасная любовь. Вот рыцарский роман на новый лад – и слова каждый раз новые. От панорамы к точке, со скоростью света. Что-то я, говорит, по тебе соскучилась сильнее, чем надо. Шары, метели, карусели, деревья, воздушы, дома. Дома, дома – трудно на них смотреть, когда ты их каждый день взрываешь по несколько дублей подряд, и в каждом кадре тебя глубоко интересуется только кирпичная пыль. Кирпичная пыль мне никак не дается, но я ее одолею, готов поклясться. Мимо шмыгнули два мокрых бешеных кота, за ними, дребезжа, помчался мокрый трамвай. Вдалеке показался не то дилижанс, не то дирижабль. Петроград накрывало противной осенью.

### 3. Эффект Доплера

...

*This ain't a scene, it's a god damn arms race.*

Я даже не знаю, с чего начать. В январе обострился артрит, в феврале написала девушка из России: хочет интервью. Или лучше было бы начать с 1974 года? Или с 2013-го, когда на премьере зал встал и хлопал минут десять точно? Или с тебя, моя радость, ты сломала мне жизнь? Как подводит меня язык, как выплевываются с него штампы, штампы, как он немеет, деревенеет, лежит мертвым грузом, как у человека с сильным нервным расстройством – я слышал про такой симптом. Мне нечего тебе сказать свежего, яркого, необычного. Мне плохо. А ты уже, небось, и померла. Сквозь прищур и ресницы я вижу тебя ясно, как если бы передо мной была фотография: хренов режиссер, ни одной фотографии твоей я не сделал и на камеру тебя не записал, хотя столько раз мог, и слава богу, что нет. Отчим мой мне всегда говорил: не снимай родных, никогда не снимай родных. А уж он-то толк знал.

Ты длинная, рыжая, тебе сколько лет-то? Девяносто есть или нет? Нет, ты младше меня, моя милая. Нежная моя. До чего ж я мудака.

И вот входит девушка. Ничего общего с тобой: низенькая, чернявая, ничего особенного. Солнце: квартира ослеплена, в окна – мартовское парижское солнце, ровно такое же, как... ну ты помнишь. Девушка щурится, достает компьютер, диктофон у нее в телефоне, по-французски не говорит, по-английски – кое-как. Они сообразили тоже, кого прислать. Она говорит: great honour<sup>1</sup>. Еще б те не honour.

Понимаешь, какая история. Было мне сорок девять, тебе меньше, тебе лет тридцать пять – тридцать шесть. Это, кстати, значит, что тебе сейчас к восьмидесяти, может, ты и жива еще? Вот это был бы номер. 74-й год, Живерни, какие-то кусты ночью – буквально так. Я не помню того момента, когда Люсьен тебя привел; я помню только, как орал на него, что, если он не заменит ассистентку, я уволю ее сам и его тоже к чертовой матери. И вот он нашел тебя, привел, вы с ним вспоминали этот момент много раз, поднимая за меня тосты, но я сам ни черта не помню. И вот ведь странно: мы поехали с тобой с этими съемками, были гостиничные номера, из которых я выгонял тебя ночью и ты уходила, закутавшись в простыню, надеясь, что никто тебя не увидит в коридоре. Чего мы боялись, я не понимаю, я был женат, конечно, но это же смешно. Сколько простыней мы залили моей спермой, твоей смазкой, не перечесать, а я помню отчетливо только эти кусты в Живерни, потому что там, милая, твои пальцы впервые... и первый же вопрос этой девочки выводит меня из себя. Вы, говорит она, первый режиссер, да что там – первый человек, заговоривший о том, что история Шоа не раскладывается на черное и белое. Вы первый человек, сказавший, что все сложнее. Когда вы это поняли?

Что я понял?

Мнется. Повторяет вопрос. Не жалко мне ее.

Радость моя. Ты моя радость. Это уже не штамп. Это так и есть: если что-то меня и радует в моей утомительной жизни, это ты. Началось это в 74-м году и так и было все эти сорок лет. Сорок лет, боже мой. Боже мой. Я помню запах портера, помню твои скулы и мочки ушей. Вру

---

<sup>1</sup> great honour – большая честь (англ.).

я, конечно; ты понимаешь, что я помню. Крик твой помню. Сладострастный я старик, удивительное дело. Но хорошо же. И потом, когда я усилием век разгоняю перед глазами вот этот день, ночь, Живерни, я вспоминаю что? Верно. Разговор наш я вспоминаю. Ты рассказала, как девочкой влюбилась в немецкого офицера, который так помогал твоим родителям и который был с тобой так мил, приносил тебе что-то сладкое, всегда так учтиво шутил, два языка, помимо родного – блестяще, эрудит, шармер, осанка, выправка. А как он выручил, когда отец твой заболел, – да вы молились на него просто. Так что не надо вот этого, пожалуйста. Ты сама понимаешь, сказала ты, что и среди немцев были прекрасные люди. И среди евреев, прости, но я скажу, были так себе ребята. Ты вот его снимаешь – ты же видишь, что он за человек...

Я тебя ударил просто потому, что мне надо было прекратить это.

Самое интересное, что не этот разговор нас разорвал с тобой. Ты стерпела и эту пощечину (не сильную, но нестерпимую), ты стерпела мой крик, хрип, я тебя убить хотел. И еще месяц мы были вместе, зажигаясь ненавистью друг к другу с каждым днем. Ты не будешь спорить, что тогда-то было лучше всего? Что с Живерни оно шло по нарастающей, оно кипело внутри каждую минуту, и практически не утолялось, и прекратилось в тот момент, когда сил жить с этим желанием уже не было никаких? Я не помню такой физической измотанности, мы оба заметно похудели, нас выжгло изнутри.

– Ты пойми, кто я, – говорю я тебе. – Тебе пять лет было, а я уже был в Сопротивлении. Я немцев убил – не считал сколько – и жалею только, что не убил еще больше. Вы это хоть понимаете? Вы хоть что-то обо мне читали, прежде чем ехать?

Мнется. Говорит: «Конечно, я знаю вашу биографию. Я изучала. «Википедию» и другие источники. Понимаете, вот ваш же отец – Денис Литвак, он же...»

Отчим. Не отец – отчим.

«Простите, пожалуйста, в «Википедии»... Так вот он же... Он прославлял Советский Союз, но он уехал, сменил точку зрения и уехал, а вы... Просто, говорит, мне кажется, что вы так неоднозначно подходите к проблеме...»

Я ей говорю тогда: «Нет ничего неоднозначного, забудьте вы про это. Все однозначно. Ты дура или что? Еврей. Не может. Быть. Коллаборационистом. Не может. Точка. Убил бы больше; если бы мог, сейчас бы убивал».

У тебя глаза наливаются ненавистью:

– Да ты просто маньяк. Маньяк и ублюдок. Ты тот же нацист, только... почувствовал вкус крови... видеть тебя не могу...

– Видеть не можешь? А если не видеть? А это ты можешь?

Смотрит с испугом, губы нервные:

– Простите, я не поняла, видимо... Тогда другой вопрос... Как вы его нашли?

Английский-то неважный у нее. А я нарочно плохо говорю.

Ты лучше всех была. А мне было что вспомнить.

В мае 74-го года, когда процентов восемьдесят материала уже было снято... нет, когда все уже было снято, оставались монтаж, озвучка, тот еще апокалипсис, а я был уже измотан до предела, и вывернут наизнанку, и выжжен нашим с тобой резко разгоревшимся романом – в этот момент отчим мой, режиссер-документалист – кстати, интереснейший персонаж, авангардист и в свое время новатор, ниспровергатель Люмьеров, изобретатель тех новых методов, которыми сейчас обкармливают студийзусов, – так вот он мне вдруг сказал: а ты знаешь что-

нибудь про этого человека? Откуда-то он про него узнал. Он стал мне подробно рассказывать: раввин, староста в гетто, проклят всем миром... Мне не хотелось этого всего знать, но я привык к нему, старику, прислушиваться, он имел на меня влияние. У меня были от него какие-то ошметки дурного русского, ну и в кинорежиссуру я пошел тоже, спасибо ему. Я сказал: ты считаешь, что это имеет смысл? Он сказал: если ты меня спрашиваешь, я считаю, что ты должен его включить в фильм. Я застонал: съемки были закончены, я не знал, как дожил до их конца. Я пережил пять лет этих съемок. Покушения – в Польше в меня стреляли на улице. На Украине пытались отравить. Потоки ненависти. Потоки обожания. Пресса, следящая за любым моим словом и шагом. Какая-то безумица поселилась у моего подъезда и каждый раз при виде меня доставала фотографию своего сына – макизара, убитого немцами; она всё мне руки рвалась целовать, а я жалел ее и не вызывал полицию. Потом ты с этим твоим запахом, ненавижу тебя. Иными словами, не было у меня больше сил ни на что. Но я привык, привык верить его чутью. Я попросил ассистентов узнать номер телефона. Дальше было нетрудно. «Я совсем-совсем не хочу сниматься, – весело сказал он. – Ну приезжайте, конечно, если вам охота». Я понял, что сниматься он будет. В тот же день я сообщил оператору, что отдыха ждать не следует. Я сказал тебе, что беру нам билеты в Вену. Без тебя я уже не ездил. Каждая ночь с тобой меня... да что говорить. Но без тебя было еще хуже.

Он действительно не хотел сниматься и позвал меня только поговорить, посмотреть на меня – ему стало интересно. Я думал, что уломаю его легко, а он уперся как баран. Мы бесконечно пили коньяк на закате, я был терпимее некуда, я терпел, аргументировал, подлизывался, подтрунивал и демонстрировал смирение и почет. Но в какой-то момент я озверел и заорал на него: какого черта он тогда меня звал? У него бровь приподнялась, и он едко сказал: вам, видать, очень дорог ваш фильм. Или как-то так. Вы, видать, очень всерьез относитесь к тому, что делаете. Он вообще так говорил – с такой скоростью и четкостью, так сыпал блестящими формулировками и остротами, – какое там «не хотел сниматься»! Только того и ждал.

В общем, он согласился.

На самом деле это ты его уломала. По-немецки. Он тебя как увидел...

Я помню этот день, ты помнишь этот день? Самолет, сортирная кабинка, да? Потом гостиница – было десять минут бросить вещи, принять душ, но мы и тут успели, вышли на полчаса позже договоренного, съемочная группа ждала смирно в лобби. По дороге в машине на заднем сиденье... Пальцы мои... Я сам уже ничего не мог, но и не мог тебя оставить в покое. Съемочная группа... Ты краснеешь пятнами, дурочка. В лифте, когда мы к нему поднимаемся на четвертый этаж. В лифте!

Договор был такой: идем вдвоем. Он даже не знал, что со мной операторы. Приходим поговорить, он сниматься не собирался, но по легкости своей согласился встретиться. Но я, конечно, подстраховался и велел парням ждать снаружи – долго, может, и вообще напрасно. Они к этому были готовы, сели на тротуар и закурили. Оливье достал кроссворд.

Он встретил нас смехом: «Что это вы, господа, столько времени делали в лифте, застряли, что ли? Я же видел вас с балкона, как вы входили в подъезд; я, кстати, и этих ваших с камерами видел – вон они там».

Циничный прелестный мужик. Голова как шар, толстый, плохо ходит.

Мы говорили на дуболомном английском не без изящества, со страшным акцентом – он с ефрейторским раскатистым «р», а я помню, как неплохо выученный и много раз использованный английский вдруг перестает умещаться у меня во рту, весь мой наработанный цитатный

бонмотизм – a little more than kin and less than kind<sup>2</sup> – встает поперек горла. Мне подсунили какого-то переводчика, но я его не пустил, конечно.

– You know, kids, – сказал он, – there is no more need in this kind of stuff<sup>3</sup>.

Я понял, что он кокетничает, ленится, ждет уговоров, просто искренне не считает это дело полезным, все разом. Я подумал, что надо уходить, и что сил нет, и черт меня дернул. И тут заговорила ты по-немецки:

– Seit meiner Kindheit spreche ich Deutsch. Er kann es nicht hören, er wuerde mich in diesen Momenten gerne getoetet haben<sup>4</sup>.

Он улыбнулся коротко и хищно, налил без разрешения мне еще коньяка, ее спросил: «Want some?» – плеснул, вышел на балкон, постоял, вернулся.

– It'll start raining in two minutes<sup>5</sup>. – Потом обернулся ко мне и сказал: – Ich bin bereit<sup>6</sup>.

Так я его и нашел.

Мартовское парижское солнце слепит без пощады. Девушка спрашивает:

– Как ваш фильм принимали в Израиле?

В Израиле. Я почему-то тогда уверился, что ты жива и ты там. Кто-то мне что-то... что дочка твоя... А ты была же замужем за каким-то русским, и дочка у тебя была... и вот эта дочка вышла замуж за ортодоксального, то ли тоже из России, то ли с Украины, и переехала туда, в Израиль, детей нарожала. И помстилось мне тогда, что она тебя забрала к себе – хотя сложно себе вообразить это все. Чтобы ты – да на какую-то опеку... Но я уже себя убедил, что ты стала другая, я увидел тебя седую, нечесаную, тощую. Впрочем, тощая и нечесаная ты всегда была. В общем, я извертелся в этих бархатных креслах. На каждую высокую женщину... И вот анекдотический старик – эдак подробно себе тебя нарисовал, старую, настроил себя, а подскакивал-то каждый раз на молоденьких. Подскакивал. Сердце подскакивало, больше похвастаться нечем. Зал хлопал стоя, минут десять, ты не пришла; тогда я решил, что ты умерла. Как бы ты иначе могла не прийти, когда ты так орала на меня, срывая голос?

Я лучше слов помню твой запах, но могу заставить себя вспомнить – про него мы говорили, какое говорили – орала, шипели. Съемки были закончены, я сел за монтаж и понял, что сейчас умру. Я его отменил. Я сказал, что не буду. Он не вписывается. Если я буду его пытаться впихнуть, я просто угрублю фильм. Просто вообще никакого фильма не будет – а тут важнее показать то, что уже смонтировано.

Девять часов осталось после монтажа, еще четыре – ну куда?

У меня правда не было сил.

Ты орала, что я трусился, что я увидел, как он упивается своей властью, и боюсь показать это всем. Что ты мне говорила об этом: история не делится на черное и белое, а я не хотел слышать и вот теперь-то должен увидеть это своими глазами. Что он мерзавец, а я трус. Что он ломает мою идеальную картинку, а я, значит, что-то там... прячу правду. Ересь. Мне хотелось тебя не убить, а ударить. И я говорю мрачно:

– I'm in pain. How many questions do you have?<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> A little more than kin and less than kind – «Племянник – пусть; но уж никак не милый» (цитата из «Гамлета» В. Шекспира, перевод М. Лозинского)(англ.).

<sup>3</sup> You know, kids, there is no more need in this kind of stuff. – В этом нет больше никакой нужды, детки (англ.).

<sup>4</sup> Seit meiner Kindheit spreche ich Deutsch. Er kann es nicht hören, er wuerde mich in diesen Momenten gerne getoetet haben. – Я говорю по-немецки с детства. Он не может этого слышать, он готов меня убить в такие моменты (нем.).

<sup>5</sup> It'll start raining in two minutes. – Через две минуты пойдет дождь (англ.).

<sup>6</sup> Ich bin bereit. – Я готов (нем.).

<sup>7</sup> I'm in pain. How many questions do you have? – У меня боли. Сколько еще у вас вопросов? (англ.)

Я прямо нарочно хамлю, могу себе позволить.

– Just a few more.<sup>8</sup>

Ну и потом она уходит, я допиваю виски через силу, на самом деле это не виски, это слабый чай в стакане для виски, куда мне виски-то сейчас – и через пару дней она шлет мне это свое интервью. Я не отвечаю; через полторы недели – робкий вопрос: мол, когда же? – пишу: дайте время еще, вы там изрядно налажали; еще две недели: ну? – не отвечаю – еще две – и я, нащупав точку гнева, взрываюсь желчным фонтаном: как вы могли подумать, что я дам это опубликовать?! А если вы опубликуете без моего разрешения, я засужу вас!

Больше она мне не писала. И тебя я больше никогда не видел.

\*\*\*

В августе я на день поехала в Берлин, мы с Кириллом прошатались одиннадцать часов по городу, большей частью по каким-то мостам и железнодорожным путям. Эта история уже не так меня разъедала, как год назад, но спокойно жить все равно не давала. Я, кажется, тогда уже рассказала Верке и Вене – они сказали: ну, напишешь большой текст или книжку, это же интересно. Серая зона как есть. А Кирилл меня жалеть не стал. Ну у нас это и не в заводе было – друг друга шадить. «Нельзя нарушать риторические табу – в этом твоя ошибка. Нельзя подвергать сомнению расстановку сил. Нет такой опции с Холокостом». Как мне объяснить, что я-то не подвергала? Но он же сам! Слова-то, пароли-то. Я помню это мучительное ощущение неклеящегося разговора, сопротивления, его раздражения – и в то же время свою мазохистскую надежду: для интервью это все могло быть очень и очень неплохо.

На этом месте должна бы быть кондовая журналистская вводка, но я не хочу до такой степени заигрывать с жанром. Семилетняя связь с Симоной де Бовуар, и он считает Ханну Арендт вздорной бабенкой. Макизар. Сопротивление. «Шоа» – кино, перевернувшее мир и так никогда толком не показанное ни в СССР, ни в России. Показанное, но таким малым экраном. И наконец – вот тогда – четырехчасовая лента про Беньямина Мурмельштейна, старосту Терезинского гетто.

И знаешь, давай я сейчас просто дам тебе прочесть это интервью, потому что оно меня измотало вконец. Я достаточно про него выдумала. Теперь пусть говорит документ.

\*\*\*

– История Холокоста в культурной парадигме – это история черного и белого, а вы ломаете этот стереотип...

– Я бы так не сказал. Девяносто девять процентов евреев пострадали в Катастрофе – и вопрос ваш нерелевантен: они были несчастные жертвы, вот и все. Можно спросить, как,

---

<sup>8</sup> Just a few more. – Еще немного (англ.).

почему люди выполняли приказы немцев – но они же были принуждены, у них не было выбора. Один выбор у них был – слушаться или умирать. С петлей на шее.

А вся эта теория этой вашей так называемой серой зоны – это мне неинтересно. Евреи евреев не убивали. Их немцы убивали. Вот и все.

Мурмельштейн – это другая история. Почему я его выбрал, почему я с ним решил провести целую неделю – потому что он был первый человек, которого я в этой истории увидел. Это было для меня сильным логическим противоречием: идея, что можно одновременно быть коллаборационистом и евреем-жертвой. Тогда я осознал: не было евреев-коллаборационистов. Были французские коллаборационисты, бельгийские, много разных – но они разделяли нацистскую идеологию, они были с ними заодно; это другое.

Евреи были вынуждены выполнять решения нацистов, но у них не было выбора, кроме как умереть. Но никоим образом вы не можете сказать, что они были коллаборационистами. И не спрашивайте меня, когда я это осознал: с самого начала... Не забывайте, что я был в Сопротивлении, я сражался с нацистами, я их убивал и жалею, что не убил больше. Это никогда не было для меня проблемой – вопрос антисемитизма. И я удивлен, как это вы приезжаете из Москвы, вы работаете в еврейском издании и спрашиваете...

– Давайте я скажу иначе. Мурмельштейн – настолько необычная фигура, и его манера говорить настолько не вписывается ни в какие стереотипы, его сарказм...

– Он мил и умен, вот что я вам скажу.

– Да, но смотрите, что именно вы ломаете. Вот есть ваше интервью с Яном Карским, где он начинает говорить и не может, потому что плачет, а вы не выключаете камеру – это трудно смотреть, и это страшный, но гораздо более привычный тон разговора о Катастрофе.

– Ну, знаете, Мурмельштейн – не Карский.

– Да, он гораздо сложнее для понимания. И у него двойственная репутация: немногие считают его подвижником, гораздо больше людей его проклинает. И может быть, это трудно – принять его ироническую манеру говорить о прошлом? Вам самому не было трудно его слушать?

– Простите меня, я сделал фильм длиной в четыре часа, чтобы показать, что он не предатель и не подлец. Меня не интересуют готовые идеи и образы. Он необычный тип. На протяжении я уж не знаю скольких лет он жил на краю смерти, смерть была вокруг него повсюду. И он прекрасно знал немцев и понимал, что жалости от них ждать нечего – а он мог как-то заставлять их делать то, что ему нужно.

– Как вы его нашли?

– Я знал, что он живет в Риме, я ему написал. Но он не хотел сниматься, и у нас шел долгий процесс переговоров. Но потом он согласился – и был абсолютно великолепен. И я полюбил его! Чем больше я с ним говорил, тем больше я любил его. И я счастлив, потому что я его полностью реабилитировал. Ему удалось помочь почти двадцати тысячам евреев эмигрировать из Вены почти без денег. Он сделал все, что мог.

– Почему вы так долго ждали, прежде чем сделать этот фильм? И что вас побудило к нему вернуться?

– Разные причины. Давайте по порядку. Во-первых, «Шоа» – фильм эпический. Фильм о смерти, не о выживших; о radicalite of death<sup>9</sup> и напряжении, которое не исчезает с экрана на протяжении всех девяти часов.

И в «Шоа» нет серой зоны: не забывайте, что главные действующие лица «Шоа» – это люди из зондеркоманд. И потому они никогда не произносят слова «я», они говорят «мы»,

---

<sup>9</sup> radicalite of death – радикальность смерти (фр. и англ.).

они не могут сказать «я», у них нет ни возможности, ни интереса сказать «я», потому что они говорят от лица смерти.

Почему я выбрал именно их – потому что они были на последней стадии, на последнем этапе процесса уничтожения. В самом конце – в крематориях, на пороге газовой камеры – я выбрал их, потому что они, как правило, единственные свидетели гибели евреев. Вместе с нацистами, само собой, – но они-то не были нацистами. И они не были евреями. Возьмите парикмахера из Треблинки или Филиппа Мюллера, возьмите любого члена зондеркоманды – они же были в точно таком же положении, что и Мурмельштейн. Не в той же роли, потому что ситуация у них была иной, – но в целом, глобально, – одно и то же. И никто не осмелится обвинить парикмахера из Треблинки или Филиппа Мюллера в том, что они были коллаборационистами. Это было бы непристойно – так сказать, и все знают, что это непристойно. Но тон «Шоа» и тон Мурмельштейна не совпадали совсем, не подходили друг другу. Мурмельштейн ироничный, сардонический, безжалостный ко всем и к себе – но глубочайше честный, очень искренний, он ни разу не солгал. Он рассказал мне такое количество чудовищных историй, потому что, знаете ли, условия Терезиенштадта – не лучшее место для проявления лучших качеств человеческой души.

Мурмельштейн отказывался подавать список людей, обреченных на высылку. Предыдущие начальники еврейских советов, юденратов – Эдельштейн и Эпштейн – подавали такие списки. А немцы были заинтересованы в цифрах: если они считали нужным выслать 5 тысяч человек, так им надо было, чтобы это было 5, а не 4,99. Но они соглашались на замены людей внутри списка.

У Мурмельштейна – у единственного – была хоть какая-то власть, потому что он мог отказаться это делать. Он говорил немцам: вы можете нас убивать, выслать – давайте, вы сильнее нас, мы не можем вас остановить. Но заставить нас выбирать – этого вы не дождетесь. Люди приходили к Мурмельштейну с просьбой заменить одного человека на другого – потому что они привыкли, что с Эдельштейном или Эпштейном это срабатывало, те говорили: да-да, что-нибудь придумаем, не волнуйтесь. А теперь они приходили к Мурмельштейну: пожалуйста, у меня там девушка – и она в списке на следующую высылку, помогите, пожалуйста. А тот отвечал: нет, я не могу ничего поменять. Если вы мне ответственно говорите, что вам надо спасти эту девушку, – хорошо, но вносите тогда свое имя в список вместо ее.

А в этом случае уж, знаете, не до милосердия или благотворительности.

И вот Мурмельштейн – а он необыкновенно артистичен и ярко разыгрывает сцены – рассказывает, как пришел к нему некий юноша, рыдая, потому что он был в списке, и умолял Мурмельштейна его вытащить. Тот сказал: не могу, невозможно. Через несколько дней, накануне высылки он увидел этого юношу веселого, как ни в чем не бывало, полного радости, и спросил: «Что случилось? Вы были в отчаянии, а теперь вон что делается». – «Нет, нет, это был не я, это была ошибка, это был Väterchen, petit papa, то есть его отец. У него было то же имя».

Видите, это все – не про совершенство человеческой природы.

Но я не мог перемешать эти стили, стиль героев «Шоа» и Мурмельштейна – невозможно это было: в «Шоа» нет ни слова рефлексии – только сухие свидетельства, это конструкция фильма, его внятность, вразумительность, его суть. Если б я держался этого закона, мною придуманного, если бы я включил Мурмельштейна в фильм, он длился бы еще на шесть или семь часов дольше. Это тоже невозможно.

И последняя причина – я забыл про Мурмельштейна. Съемки «Шоа» были настолько мучительными, страшными и так меня вымотали – физически, эмоционально, морально: бог знает сколько поездок в Германию, опасных поездок, сколько-то поездок в Польшу... Я сказал в какой-то момент: ну хорошо, посмотрим, когда фильм будет закончен.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.